

Иван Тургенев

ДОВОЛЬНО



Иван Тургенев

ДОВОЛЬНО

«Public Domain»

1865

Тургенев И. С.

Довольно / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1865

«Довольно», как и «Призраки», – своеобразная интимно-философская исповедь писателя, проникнутая глубоко пессимистическим пониманием истории человеческого общества, природы, искусства. На автобиографическую основу очерка Тургенев указывал в письме к М. М. Стасюлевичу: «Я сам раскаиваюсь в том, что печатал этот отрывок (к счастью, никто его не заметил в публике), – и не потому, что считаю его плохим, а потому, что в нем выражены такие личные воспоминания и впечатления, делиться которыми с публикой не было никакой нужды».

© Тургенев И. С., 1865

© Public Domain, 1865

Содержание

I	5
II	6
III	7
IV	8
V	9
VI	10
VII	11
VIII	12
IX	13
X	14
XI	15
XII	16
XIII	17
XIV	18
XV	19
XVI	20
XVII	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22
Комментарии	

Иван Сергеевич Тургенев
Довольно
Отрывок из записок умершего художника

I

.....

II

.....

III

...«Довольно», – говорил я самому себе, между тем как ноги мои, нехотя переступая по крутому скату горы, несли меня вниз, к тихой речке; – «довольно», – повторял я, вдыхая смолистый запах сосновой рощи, которому свежесть наступавшего вечера придавала особенную крепость и остроту; – «довольно», – сказал я еще раз, усевшись на моховом бугре над самой речкой и глядя на ее темные и небыстрые волны, над которыми толстый тростник поднимал свои бледно-зеленые стебли... «Довольно!» – Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову в обе руки и велеть сердцу молчать. Полно нежиться сладкой негой неопределенных, но пленительных ощущений, полно бежать за каждым новым образом красоты, полно ловить каждое трепетание ее тонких и сильных крыл. Всё изведено – всё перечувствовано много раз... устал я. – Что мне в том, что в это самое мгновение заря всё шире, всё ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобедною страстию? Что в том, что в двух шагах от меня, среди тишины и неги и блеска вечера, в росистой глубине неподвижного куста, соловей вдруг сказался такими волшебными звуками, точно до него на свете не водилось соловьев и он первый запел первую песнь о первой любви? Всё это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз^[1] – и как вспомнишь, что всё это будет продолжаться так целую вечность, словно по указу, по закону, – даже досадно станет! Да... досадно!

IV

Эх, состарился я! Прежде подобные мысли и в голову бы мне не пришли – прежде, в те счастливые дни, когда я сам разгорался, как заря, и пел, как соловей. Надо признаться: всё потускнело вокруг, вся жизнь поблекла. Свет, который дает ее краскам и значение и силу, – тот свет, который исходит из сердца человека, – погас во мне... Нет, он еще не погас – но едва тлеет, без лучей и без теплоты. Помнится, однажды поздней ночью, в Москве, я подошел к решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к неровному стеклу. Было темно под низкими сводами – позабытая лампадка едва теплилась красным огоньком перед древним образом – и смутно виднелись одни только губы святого лика, строгие, скорбные; угрюмый мрак надвигался кругом и, казалось, готовился подавить свою глухую тяжестью слабый луч ненужного света... И в сердце моем – теперь такой же свет и такой же мрак.

V

И это я пишу тебе – тебе, мой единственный и незабвенный друг, тебе, дорогая моя подруга, которую я покинул навсегда, но которую не перестану любить до конца моей жизни... Увы! ты знаешь, что нас разлучило. Но я не хочу теперь упоминать об этом. Я тебя покинул... но и здесь, в этой глуши, в этой дали, в этом изгнании – я весь проникнут тобою, я по-прежнему в твоей власти, по-прежнему чувствую сладостное тяготение твоей руки на моей склоненной голове! В последний раз приподнимаясь из немои могилы, в которой я теперь лежу, я пробегаю кротким и умиленным взором всё мое прошедшее, всё наше прошедшее... Надежды нет, и нет возврата – но и горечи нет во мне и нет сожаленья, и яснее небесной лазури, чище первого снега на горных высотах, восстают, как образы умерших богов, прекрасные воспоминанья... Они не теснятся толпами, они проходят тихой чередой, как те закутанные фигуры афинских феорий,^[2] которыми – помнишь? – мы так любовались на древних барельефах Ватикана...

VI

Я сейчас упомянул о свете, который исходит из сердца человеческого и озаряет всё, что его окружает... Мне хочется поговорить с тобою о том времени, когда и в моем сердце горел этот благодатный свет. Слушай... а я вообразу, что ты сидишь передо мною и глядишь на меня твоими ласковыми и в то же время почти до строгости внимательными глазами. О незабвенные глаза! На кого, куда устремлены вы теперь? Кто принимает в свою душу ваш взгляд – этот взгляд, который как будто вытекает из неведомой глубины, подобно тем таинственным ключам, как вы, и светлым и темным, которые бьют на самом дне тесных долин, под навесами скал?.. Слушай.

VII

Это было в конце марта, перед благовещением,^[3] вскоре после того, как я в первый раз тебя увидел, и, еще не подозревая, чем ты станешь для меня, уже носил тебя в сердце – безмолвно и тайно. Мне пришлось переезжать одну из главных рек России. Лед еще не тронулся на ней, но как будто вспух и потемнел; четвертый день стояла оттепель. Снег таял кругом – дружно, но тихо; везде сочилась вода; в рыхлом воздухе бродил беззвучный ветер. Один и тот же, ровный молочный цвет обливал землю и небо; тумана не было – но не было и света; ни один предмет не выделялся на общей белизне; всё казалось и близким, и неясным. Оставив свою кибитку далеко назад, я быстро шел по льду речному – и, кроме глухого стука собственных шагов, не слышал ничего; я шел, со всех сторон охваченный первым млением и веянием ранней весны... И понемногу, прибавляясь с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня – и так сильны были ее порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел вокруг, как бы желая отыскать внешнюю причину моего восторженного состояния... Всё было тихо, бело, сонно; но я поднял глаза: высоко на небе неслись станицей прилетные птицы... «Весна! здравствуй, весна! – закричал я громким голосом, – здравствуй, жизнь, и любовь, и счастье!» – и в то же мгновение, с сладостно потрясающей силой, подобно цветку кактуса, внезапно вспыхнул во мне твой образ – вспыхнул и стал, очаровательно яркий и прекрасный, – и я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полон тобою...

VIII

Я думаю о тебе... и много других воспоминаний, других картин встает передо мною – и повсюду ты, на всех путях моей жизни встречаю я тебя. То является мне старый русский сад на скате холма, освещенный последними лучами летнего солнца. Из-за серебристых тополей выглядывает тесовая крыша господского дома с тонким завитком алого дыма над белой трубой, а в заборе калитка чуть раскрылась, словно кто потянул ее нерешительной рукою, – и я стою и жду, и гляжу на эту калитку и на песок садовой дорожки – я дивлюсь и умиляюсь, всё, что я вижу, мне кажется необыкновенным и новым, всё обвеяно какой-то светлой, ласковой таинственностью, – и уже чудится мне быстрый шелест шагов – и стою я, весь напряженный и легкий, как птица, только что сложившая крылья и готовая взвиться вновь, – и сердце горит и трепещет веселым страхом перед близким, перед налетающим счастьем...^[4]

IX

То вижу я древний собор в далекой, прекрасной стране. Рядами теснится коленопреклоненный народ; молитвенным холодом, чем-то важным и унылым веет от высокого, нагого свода, от громадных, кверху разветвленных столбов. Ты стоишь возле меня безгласно и безучастно, точно ты мне чужая; каждая складка твоего темного плаща висит неподвижно, как изваянная; неподвижно лежат пестрые отраженья цветных окон у ног твоих, на потертых плитах. И вот, сильно потрясая тусклый от ладана воздух, внутренно нас потрясая, тяжелой волной прокатились звуки органа – и ты побледнела и выпрямилась – твой взор коснулся меня, скользнул выше и поднялся к небу, – а мне показалось, что только бессмертная душа может так глядеть и такими глазами...

Х

То является мне другая картина. Не старинный храм подавляет нас своим суровым великолепием; низкие стены небольшой уютной комнатки отделяют нас от целого мира. Что я говорю! мы одни, одни в целом мире; кроме нас двоих, нет ничего живого; за этими дружжелюбными стенами мрак, и смерть, и пустота. То не ветер воеет, то не дождик струится ручьями: то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи.^[5] А у нас тихо, и светло, и тепло, и приветно; что-то забавное, что-то детски-невинное, бабочкой – не правда ли? – порхает вокруг; мы приютились друг к дружке, мы прислонились друг к дружке головами и оба читаем хорошую книгу; я чувствую, как бьется тонкая жилка в твоём нежном виске, я слышу, как ты живешь, ты слышишь, как я живу, твоя улыбка рождается у меня на лице прежде, чем у тебя, ты отвечаешь безмолвно на мой безмолвный вопрос, твои мысли, мои мысли – как оба крыла одной и той же в лазури потонувшей птицы... Последние преграды пали – и так успокоилась, так углубилась наша любовь, так бесследно исчезло всякое разъединение, что нам даже не хочется меняться словом, взглядом... Только дышать, дышать вместе хочется нам, жить вместе, быть вместе... и даже не сознавать того, что мы вместе...^[6]

XI

Или, наконец, мне представляется то ясное, сентябрьское утро, когда мы гуляли с тобою по пустынному, еще не отцветшему саду заброшенного дворца, на берегу великой нерусской реки, при кротком сиянии безоблачного неба. О, как передать те ощущения! Эта бесконечно текущая река, эта безлюдность и спокойствие, и радость, и какая-то упоительная грусть, и колысение счастья, незнакомый однообразный город, осенние крики галок в высоких светлых деревьях – и эти ласковые речи и улыбки, и взгляды, долгие, мягкие, до дна доходящие, и красота, красота в самих нас, кругом, повсюду – это выше слов. О скамейка, на которой мы сидели молча, с поникшими от избытка чувств головами, – не забыть мне тебя до смертного моего часа! Что за прелесть были эти редкие прохожие с их коротким приветом и добрыми лицами, и плывшие мимо большие тихие лодки (на одной из них – помнишь? – стояла лошадь и задумчиво глядела на скользившую у ней под носом воду) – ребяческий лепет мелких прибрежных волн и самый лай далеких собак над гладью реки, самое покрякивание дородного унтер-офицера на учившихся тут же в сторонке краснощеких рекрутов с их оттопыренными локтями и вынесенными вперед на журавлиный лад ногами!.. Мы чувствовали оба, что лучше этих мгновений ничего в мире не бывало и не будет для нас, что всё остальное... Да и какие тут сравнения! Довольно... довольно!.. Увы! да: довольно.

XII

В последний раз отдался я тем воспоминаниям и прощаюсь с ними безвозвратно. Так скупой, в последний раз налюбовавшись своим кладом, своим золотом, своим светлым сокровищем, – засыпает его серой сырой землею; так светильня истощенной лампы, вспыхнув последним, ярким пламенем, покрывается холодным пеплом. Взглянул зверек в последний раз из своей норки на бархатную травку, на солнышко, на голубые ласковые воды – да и забился в самую глубь, свернулся калачиком и заснул. Будут ли ему хотя во сне мерещиться и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды?

.....
.....
.....

XIII

Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба – и только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собою, не чувствуем ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать – можно жить и не стыдно надеяться. Истина – не полная истина – о той и помину быть не может, но даже та малость, которая нам доступна, замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас «на нет». Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения... самопрезрения: спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! – и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает Паскаль, когда он, называя человека мыслящим тростником, говорит, что если бы целая вселенная его раздавила – он, этот тростник, был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала.^[7] Слабое достоинство! Печальное утешение! Как ты ни старайся проникнуться им, поверить ему – о, ты, кто бы ни был, мой бедный собрат, – не отразить тебе тех грозных слов поэта: «Наша жизнь – одна бродячая тень; жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадает без вести; сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости и не имеющая никакого смысла»¹. Я привел стихи из «Макбета», и пришли мне на память те ведьмы, призраки, привидения... Увы! не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась...^[8] Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска.^[9] Проникнувшись *этим* сознанием, отведая *этой* польни, никакой уже мед не покажется сладким – и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности – даже оно теряет всё свое обаяние; всё его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да: человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях – смотришь: давным-давно уже нет следа самого того червя, который выел последний остаток его иссохшего языка. Так, поздней осенью, в морозный день, когда всё безжизненно и немо в поседелой траве, на окраине обнаженного леса, – стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю – тотчас отовсюду поднимутся мошки: они играют в теплом его луче, хлопчут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга... Солнце скроется – мошки валятся слабым дождем – и конец их мгновенной жизни.

¹ *Макбет*. Акт V-й, сцена 5-я.

XIV

Но разве нет великих представлений, великих утешительных слов: «Народность, право, свобода, человечество, искусство?» Да; эти слова существуют, и много людей живет ими и для них. Но все-таки мне сдается, что если бы вновь родился Шекспир, ему не из чего было бы отказаться от своего Гамлета, от своего Лира. Его пронзительный взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту: всё та же пестрая и в сущности несложная картина развернулась бы перед ним в своем тревожном однообразии. То же легкоеверие и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страдания во имя... ну хоть во имя того же вздора, две тысячи лет тому назад осмеянного Аристофаном,^[10] те же самые грубые приманки, на которые так же легко попадает многоголовый зверь – людская толпа, те же хватки власти, те же привычки рабства, та же естественность неправды – словом, то же хлопотливое прыганье белки в том же старом, даже не подновленном колесе... Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое: «нет виноватых» – что другими словами значит: «нет и правых»^[11] – и тоже бы промолвил: довольно! – и тоже бы отвернулся. Одно разве только: быть может, в противоположность мрачному, трагическому тирану – Ричарду – иронический гений великого поэта захотел бы нарисовать другой, более современный тип тирана, который почти готов поверить в собственную добродетель и спокойно почивает по ночам или жалуется на чересчур изысканный обед в то самое время, когда его полураздавленные жертвы стараются хоть тем себя утешить, что воображают его, как Ричарда III, окруженным призраками погубленных им людей...^[12]

Но к чему?

К чему доказывать – да еще подбирая и взвешивая слова, округляя и сглаживая речь, – к чему доказывать мошкам, что они точно мошки?^[13]

XV

Но искусство?.. красота?.. Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, мною выше упомянутых слов. Венера Милосская, пожалуй, несомненное римского права^[14] или принципов 89-го года.^[15] Мне могут возразить – и сколько раз уже слышались эти возражения! – что и сама красота дело условное, что китайцу она представляется совсем иначе, чем европейцу... Но не условность искусства меня смущает; его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах – вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство, в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля,^[16] ни поэмы Гёте, – и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве как о подражании природе;^[17] но в конце концов природа неотразима; ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного... Человек ее дитя; но человеческое – искусственное – ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизменным и бессмертным. Человек дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтений: всё, что существует в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому – она создает, разрушая, и ей всё равно: что она создает, что она разрушает – лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих... А потому она так же спокойно покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Юпитера,^[18] как и простой гольш, и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла.^[19] Люди, правда, ревностно помогают ей в ее истребительной работе; но разве не та же стихийная сила, не сила природы сказалась в палице варвара, бессмысленно дробившего лучезарное чело Аполлона,^[20] в звериных воплях, с которыми он бросал в огонь картину Апеллеса?^[21] Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, всё пожирая?^[22] Как устоять против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безустанно надвигающихся волн, как поверить, наконец, в значение и достоинство тех бранных образов, которые мы, в темноте, на краю бездны, лепим из праха и на миг?

XVI

Всё так... но одно преходящее прекрасно, сказал Шиллер;^[23] и сама природа, в непрерывной игре своих возникающих, исчезающих форм, не чуждается красоты. Не она ли старательно убирает самые мгновенные из своих детищ – лепестки цветов, крылья бабочек – такими прелестными красками, не она ли придает им такие изящные очертанья? Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной, – ей довольно одного мгновенья. Так; это, пожалуй, справедливо – но только там, где нет личности, нет человека, нет свободы: поблекшее крыло бабочки возникает вновь и через тысячу лет тем же самым крылом той же самой бабочки; тут строго и правильно, и безлично совершает свой круг необходимость... Но человек не повторяется, как бабочка, и дело его рук, его искусства, его свободное творение, однажды разрушенное, – погибает навсегда... Ему одному дано «творить»... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на час, – как был, говорят, калиф на час.^[24] В этом наше преимущество – и наше проклятие: каждый из этих «творцов» сам по себе, именно он, не кто другой, именно это я, словно создан с преднамерением, с предначертанием; каждый более или менее смутно понимает свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему, вечному – и живет, должен жить в мгновенье и для мгновенья.^[48] Сиди в грязи, любезный, и тянись к небу! Величайшие из нас – именно те, которые глубже всех других сознают это коренное противоречие; но в таком случае – спрашивается – уместны ли слова: величайший, великий?

² Как не вспомнить тут слов Мефистофеля к Фаусту: *Er (Gott) findet sich in einem ew'gen Glanze, Uns hat er in die Finsterniss gebracht —Und euch taugt einzig Tag und Nacht.* {48} <Он (бог) обитает в вечном сиянии, нас он низринул в темноту, вам он отвел день и ночь (нем.)>.

^{48} *Er – (Gott) – findet ~ einzig Tag und Nacht.* – И.-В. Гёте. Фауст (1808). Часть I, рабочая комната Фауста.

XVII

Что же сказать о тех, к которым, при всем желании, нельзя применить эти имена, даже в том значении, которое придает им слабый человеческий язык? Что сказать об обыкновенных, дюжинных, второстепенных, третьестепенных тружениках, кто бы они ни были – государственные люди, ученые, художники – особенно художники? Чем заставить их стряхнуть свою немую лень, свое унылое недоумение, чем привлечь их опять на поле битвы, – если только мысль о тщете всего человеческого, всякой деятельности, ставящей себе более высокую задачу, чем добывание насущного хлеба, закралась им в голову? Какими венками прельстятся они – они, для которых и лавры и тернья стали равно незначительны? Из чего они станут снова подвергаться смеху «толпы холодной» или «суду глупца»^[25]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

«Довольно!» – Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора ~ Всё это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз. – Ср. у Марка Аврелия: «Пора уgomониться <...> оставь пустые надежды сам, пока еще не поздно, приди себе на помощь, если ты сколько-нибудь заботишься о самом себе...»; «Что бы ни произошло, всегда будь готов сказать: „Ведь это то самое, что я уже часто видел...“»; «Довольно жалкой жизни, ропота и обезьянничанья. Что тревожит тебя? Что в этом нового? (..) Всё равно, наблюдать ли одно и то же сто лет или три года» (Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. М., 1914, с. 34, 91, 137).

2.

...закутанные фигуры афинских феорий. – Феория (от греч. theos – бог) – торжественное священное посольство, отправлявшееся в храмы, приносящее жертву богам и вопрошающее оракула. Наиболее известна афинская феория, ежегодно отправлявшаяся на остров Делос к святилищу Аполлона. Возможно, Тургенев имеет в виду фреску Рафаэля «Афинская школа», выполненную в парадном зале Ватиканского дворца. Во втором черновом автографе упоминался Рафаэль (см.: Т сб, вып. 3, с. 24). С конца февраля по 12 (24) апреля 1840 г. Тургенев жил в Риме во время путешествия по Италии. Об изучении «памятников и древностей» Рима он писал в <Воспоминаниях о Н. В. Станкевиче> (см. наст. изд., т. 5).

3.

...перед благовещеньем – благовещенье – христианский праздник, празднуется 25 марта по православному календарю.

4.

...с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога ~ сердце горит и трепещет веселым страхом перед близким, перед налетающим счастьем... – Главки VII–VIII по своему лиризму ассоциативно близки XXXIV главе «Дворянского гнезда», сцене объяснения Лаврецкого с Лизой (см. наст. изд., т. 6).

5.

...то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи. – В древнегреческой мифологии и философии Хаос – изначальная вечная, безграничная стихия, существовавшая до образования мироздания; темный животворный источник жизни мира.

6.

То является мне другая картина ~ и даже не сознавать того, что мы вместе. – Эта главка напоминает письма Тургенева к П. Виардо 1840-х гг., особенно письмо от 9 (21) мая 1844 г. из Петербурга, в котором Тургенев сообщал: «Я хотел заглянуть здесь в наши милые маленькие комнатки, но теперь там кто-то живет».

7.

...то достоинство, на которое намекает Паскаль ~ а она бы этого не знала. – Вольно пересказанное Тургеневым широко известное суждение Блеза Паскаля (Pascal; 1623–1662): «Человек не что иное, как тростник, очень слабый по природе, но этот тростник мыслит. Незачем целой вселенной ополчаться, чтобы его раздавить. Пара, капли воды достаточно, чтобы его умертвить. Но если бы даже вселенная раздавила его, человек был бы еще более благороден, чем то, что его убивает, потому что он знает, что он умирает; а вселенная ничего не знает о том преимуществе, которое она имеет над ним» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1888, с. 47).

8.

...не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась... – В данном контексте речь идет о трагическом вмешательстве потусторонних сил в жизнь человека. Понятие «гофманщина» связано с именем немецкого писателя-романтика Гофмана (Hoffmann) Эрнста Теодора Амадея (1776–1828).

9.

...Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелконеинтересна и нищенски плоска ~ и конец их мгновенной жизни. – Эти высказывания, как и вся XIII глава «Довольно», идейно и композиционно близки XXIII главе «Призраков» (см. наст. том, с. 216).

10.

...во имя того же вздора ~ осмеянного Аристофаном. – Аристофан (ок. 446–385 гг. до н. э.) – древнегреческий комедиограф, сатирик, автор комедий «Всадники», «Облака», «Осы», «Птицы», «Лисистрата», «Лягушки» и др. Высокая оценка Аристофана и его школы содержится в письме Тургенева к Полине Виардо от 28 ноября, 3 декабря (10, 15 декабря) 1846 г.

11.

...Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое: «нет виноватых» – что другими словами значит: «нет и правых». – Слова Лира из трагедии Шекспира «Король Лир» (1608) (д. IV, сцена 6). В такой же интерпретации Тургенев процитировал их в письме к Ю. П. Вревской от 18 (30) января 1877 г. и повторил в повести «Степной король Лир» (1870).

12.

...воображают его, как Ричарда III, окруженным призраками погубленных им людей. – В трагедии Шекспира «Ричард III» (1597) главному герою Ричарду III Глостеру являются призраки людей, павших жертвами его преступлений (действие пятое, сцена третья). Прототипом героя трагедии Шекспира явился английский король Ричард III, последний из династии Йорков; вступил на престол, совершив ряд злодеяний.

13.

...к чему доказывать мошкам, что они точно мошки? – Ср. с XXIII гл. «Призраков»: «Эти люди – мухи, в тысячу раз ничтожнее мух» (см. наст. том, с. 216).

14.

...Венера Милосская ~ несомненное римского права. – Статуя Венеры Милосской, обнаруженная при раскопках в Греции в начале XIX в., находился в Париже в Луврском музее. Римское право – свод законов древнего Римского государства. Римские юристы различали право публичное и право частное. Римское частное право легло в основу законодательства многих западноевропейских государств, прямо заимствовавших римские правовые понятия или принявших принципы римского права за образцы при разработке кодексов нового времени.

15.

...принципов 89-го года. – Речь идет о «Декларации прав человека и гражданина» – политическом манифесте французской буржуазной революции, принятом Учредительным собранием 26 августа 1789 года.

16.

...ни картины Рюисдаля. – Рейсдаль (Ruysdael, Ruisdael) Якоб ван (1628 или 1629–1682) – голландский художник-пейзажист; принадлежал к любимым живописцам Тургенева. «Ходил я в Эрмитаж посмотреть старых друзей: Рюисдаля, Поттера и других», – писал Тургенев П. Виардо 7, 8 (10, 20) марта 1868 г. из Петербурга.

17.

...и одни лишь тупые педанты ~ о подражании природе... – Выпад против некоторых положений диссертации Чернышевского «Об эстетических отношениях искусства к действительности». Ср. с высказыванием Тургенева о ней в письме к Боткину и Некрасову от 25 июля (6 августа) 1855 г.: «Что же касается до книги Чернышевского – вот главное мое обвинение против нее: в его глазах искусство есть, как он сам выражается, только суррогат действительности, жизни – и в сущности годится только для людей незрелых. Как ни вертись, эта мысль у него лежит в основании всего. А это, по-моему, вздор».

18.

...покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Юпитера. – Статуя Зевса (Юпитера) в храме Зевса в Олимпии, созданная древнегреческим скульптором Фидием (VI–V вв. до н. э.), считалась одним из семи чудес света. Статуя не сохранилась; известна по копиям и описаниям.

19.

...и отдаёт на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла. – Из более чем 120 пьес Софокла (497–406 до н. э.) сохранились лишь семь трагедий и около 100 отрывков.

20.

...лучезарное чело Аполлона. – Аполлон – один из наиболее почитаемых богов античного Олимпа. Известны статуи Аполлона работы древнегреческих скульпторов Леохара, Праксителя.

21.

...картину Апеллеса? – Апеллес – древнегреческий живописец второй половины IV века до н. э. Его портреты и картины не сохранились.

22.

...сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая? – Высказывания о всемогущей стихийности природы, о ее «грубом равнодушии» содержатся во многих письмах Тургенева к П. Виардо. «Да она такова: она равнодушна, – писал он 29, 30 мая (10, 11 июня) 1849 г., – душа есть только в нас, может быть, немного вокруг нас... это слабое сияние, которое древняя ночь вечно стремится поглотить». Ср. с письмом к П. Виардо от 16 (28) июля 1849 г.: «Эта штука – равнодушная, повелительная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа или бог; называйте ее как хотите...»

23.

...но одно преходящее прекрасно, сказал Шиллер. – Возможно, Тургенев имеет в виду следующие строки Шиллера:

24.

...как был, говорят, калиф на час. – Калиф на час – человек, наделенный властью на очень короткое время, образ из арабской сказки «Сон наяву, или Калиф на час», входящей в сборник «Тысяча и одна ночь». Популярности выражения способствовала оперетта Ж. Оффенбаха (1819–1880) «Калиф на час».

25.

...подвергаться смеху «толпы холодной» или «суду глупца». – Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830): «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной».

48.

Er – (Gott) – findet ~ einzig Tag und Nacht. – И.-В. Гёте. Фауст (1808). Часть I, рабочая комната Фауста.